

В последние годы страдающего от неизлечимой болезни Страхова Толстой стремился «облегчить, успокоить», оказывал ему посильную духовную помощь, очень советовал не впадать в грех уныния: «Уныние, вы знаете, что грех, и потому, верно, боретесь с ним, а одиноким не может быть никто, у кого есть общение с Богом. Если открыт путь на эту главную станцию, то оттуда уже беспрепятственное и бесконечное общение со всем истинно живым. А у вас должно быть это общение с главной станцией, с Богом».¹⁶⁴

Утешение как утешение, несколько, кажется, холодноватое, особенно если сравнить его с ответным плачем Страхова, еще раз исповедующегося Толстому и сравнивающего себя с героями «Хозяина и работника»: «Да, я свой грех знаю, и думаю о нем каждый день. Словами я выражают это так: нужно обратиться к Богу. И вот, хочу исповедаться перед Вами: мне становится страшно от этой мысли; я чувствую себя таким ничтожным, слабым, порочным, я начинаю ставить для обращения к Богу такие высокие требования, желать в себе такой глубокой перемены, что теряю всякую решимость, не могу приступить к делу. Так со мною было всегда, всю жизнь. Я не женился и не собирался жениться только потому, что дело мне казалось сложным, трудным, ответственным. Я всегда очень боялся вмешательства в чужую жизнь со своей стороны, и старался не брать на себя никаких обязательств, пугаясь того, что не могу выполнить их как следует. Боже мой! Какая уродливость, какая безжизненность! Вероятно, отец родил меня в минуту несчастного раздумья. Все мне представляется в отвлеченном виде, и потому сложным и трудным; чувство никогда не бывает настолько живо, чтобы увлечь меня и порвать сеть мыслей. Я только избегаю дурного и только желаю хорошего, но делать хорошее не делаю по слабости стремления (...) В последнее время я много каюсь, много усиливаюсь понять себя и свою жизнь настоящим образом. И я постоянно ловлю себя на самолюбивых мыслях; рассказывая о Василии Андреевиче, Вы обо мне написали. Я все тешу себя похвалами, которые заслужил и еще надеюсь заслужить, или обижаясь иногда невниманием и высокомерием, которое встретил. И эти пустяки составляют ежедневную пищу моей души! Как бы мне вытравить свой эгоизм, как бы приобрести добродушие и спокойствие Никиты?»¹⁶⁵

До Никиты умирающему Страхову, очевидно, весьма далеко. Он каётся Толстому спустя полтора месяца в самом большом своем грехе — созерцательном и «спасительном» эгоизме: «Да, я счастлив, что как-то спасся от суетолоки жизни. Но ведь я оттерпелся, отмолчался, отлежался... Не дай Боже никому тех пакостей, которые я перенес! Другие опасности, другие горести я считаю лучше моих, даже не стоящих названия опасностей и горестей».¹⁶⁶

В январе 1896 года Страхов умер, так и не прочитав последнего письма к нему Толстого, которое должны были доставить Борис Русанов и Павел Щеголев. Толстой записал в дневнике: «Я жив, но не живу. Страхов. Нынче узнал об его смерти». Они последнее время часто писали друг другу о смерти, не ведая, кого изберет слепой жребий первым. Он пал на Страхова, что опечалило Толстого — ушел старый друг и Толстого и всей семьи писателя,¹⁶⁷ постоянный гость Ясной Поляны, с которым он привык вести дол-

¹⁶⁴ Там же. С. 992. Письмо от 26 апреля 1895 года.

¹⁶⁵ Там же. С. 994—995.

¹⁶⁶ Там же. С. 1008—1009.

¹⁶⁷ Страхов неоднократно писал в письмах к Толстому, Софье Андреевне, Татьяне Львовне о своей любви ко всей толстовской семье и к Ясной Поляне. И он был всегда там желанным и дорогим гостем (см. об этом: Толстой С. Л. Николай Николаевич Страхов / Публикация Н. П. Пузина // Яснополянский сборник. 1982. Тула, 1984. С. 128—135; Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым / Ред. А. А. Донсков. Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa, 2000).